



Продолжение. Начало в № 1–12 за 2013 год, в № 1–12 за 2014 год, в № 1–12 за 2015 год, в № 1–12 за 2016 год, в № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 за 2017 год

Книга Ивана Афанасьева, изданная в Гомеле, называется «Вещество литературы в эпоху катастроф». Блестящий публицист и дотошный историк осмысляет событие, ставшее для его родной Беларуси очной ставкой с фатальным небытием: Чернобыль.

Для нынешней истории, продолжающейся в непрерывных катастрофах, когда целые города проваливаются в пропасти землетрясений, а гигантские цунами смывают в небытие прибрежные цивилизации, Чернобыль может показаться просто очередным гибельным эпизодом, который человечеству надо пережить.

Но для небольшой Беларуси этот Чернобыль вспыхнул, что называется, под боком и готов был выжечь намертво веками обжитое пространство.

Для белорусов катастрофа соизмерилась с масштабами национального бедствия.

Крупнейшие белорусские писатели прикованы к этой беде: Виктор Козько, Алесь Адамович, Василь Быков, Светлана Алексиевич попытались осмыслить трагедию; Иван Афанасьев осмысляет их исповеди.

Катастрофа такова, что ее сразу не охватишь умом и сердцем: эта тема — надолго... Афана-

сьев чувствует ее фатальную для белорусов катастрофичность. Тридцать лет — это только начало осмысления того, что случилось, и не вдруг поймешь, что же это.

«Чернобыльская катастрофа несет в себе множество неразгаданных смыслов — технологических, нравственных, политических, исторических, мировоззренческих, не поддающаяся элементарному толкованию совокупность которых фокусируется в изначальной трагичности самой белорусской истории. Для подавляющего большинства современников Чернобыля узанавание себя в новой (постчернобыльской) реальности осложняется необходимостью сознательного участия в процессе национальной самоидентификации. Именно поэтому Чернобыль, прежде всего, должен быть осмыслен как катастрофа гуманитарная, что в свою очередь усиливает ответственность белорусской литературы, утвердившей себя в XX веке в качестве ведущей формы национального сознания...»

Чернобыль парадоксальным образом обратил на белорусов взоры всего мира. Однако самой нации надлежало преодолеть эту трагедию, вырваться из-под чудовищного гнета причины, в которой явление народа миру было неразделимо с его окончательным, гибельным исходом.

Свершилось... К добру ли, к несчастью, однако мы на коней-то осознали себя на гребне цивилизационного разлома, откуда больше неGrabнет звонкой поэтической фигурой насмешливый вопрос: "Какое нынче тысячелетие на дворе?", ибо мы готовы искренне и всерьез ответить на него: "Не знаем" и в дивном ладу с нашим невежеством обретаем ту сопричастность вечности, о которой вчера могли только мечтать. Все так, если не смущает цена этого прозрения: Чернобыль. Его чудовищная, запретельная реальность заставляет еще крепче сжимать натруженными ладонями черенок лопаты, которая на заре эпохи нового всемирного спасения олицетворила жидкительную идею платоновских копателей "Коплована", несколько подмоченную бесполезностью сего универсального инструмента на гранитных отвалах Беломорканала, однако впоследствии выдержавшего жестокую конкуренцию со всеми новациями атомного века. В борьбе с ними "соха" одолела "синхрофазотрон": и тогда, когда неискоренимый, природный земледелец после пахоты садился за пульт атомной станции последнего поколения, и тогда, когда вчерашний кандидат наук — рядовой творец технического чуда — лопатой же намеревался превозмочь непрогнозируемые последствия своего старания, гонимый высшим государственным интересом к разрушенному энергоблоку Чернобыльской АЭС.

В каком-то смысле упование на сложившуюся традицию советской "военной" прозы остается последним оплотом литературоцентричности русского художественного опыта. Сегодня почти утраченная, она явственно присутствует в мировоззренческом выборе литературы, среди современных слагаемых которой год 1986-й, "чернобыльский", значит ничуть не меньше, чем 1945-й, победный.

...Чернобыльская катастрофа стала бесповоротным поражением человечества, моментом истины — страшной, новой, невиданной, не постигаемой на всю глубину ее требовательного, властного давления на мир и человека...

Чернобыль, посрамив человеческую цивилизацию, жестоко доказал чудовищную возможность мира без человека — причем именно мира, человеком домысленного, сотворенного. Надчеловеческая реальность катастрофы вполне смогла обходиться без него. Неравенство человека Событию, его интеллектуальное, технологическое и моральное бессилие устраняли то основание меры в искусстве, которое искушало творца со времен классического целенаправленного античности, где человек был "мерой всех вещей"...

Утрата всего приближает человека к первособытию, вселенское одиночество становится не завершенным, а истоком».

Что поражает в этой чернобыльской гибельности? Ее элементарная технологичность. Если бы катастрофа обрушивалась из-под недостижимых

небес, это было бы еще понятно. Но от какой-то там «смердящей вонючки»? От какого-то элементарного инженерного недосмотра? От какой-то Достоевским замеченной «закопченной баньки с пауками в углу»? И от этой чепухи — угроза бытию?!

Впрочем, апологеты технопроцесса и эту чепуху готовы переступить.

«Систему необходимо "защитить", "закранировать" от потоков, образующих в своей совокупности природу. Система должна быть запаяна в консервную банку»...

Но как запаять в эту банку Чернобыль, который соизмерим по глобальной гибельности с такими трагедиями, как мировая война? Как Великая Отечественная война!

«Великая Отечественная война и Чернобыльская катастрофа — две общенациональные темы белорусской литературы, которые определяют не только ее качественный статус, но и роль в мировом литературном наследии XX века. В своем развитии эти две ветви национальной словесности прошли типологически схожий путь, который, между тем, не так однозначен по результату, как того можно было бы ожидать в силу указанной выше "генетической" (мировоззренческой) общности».

И опять-таки: если мировая война, как верили марксисты, — следствие капиталистического мироустройства, то надо обращаться к этой первопричине. А если первопричина — сама война? А мироустройство — лишь следствие, которое выворачивается туда-сюда в непредсказуемой Истории?

Исчезает сама система координат.

«Крушение Советского Союза, ниспровержение советского опыта (и прежде всего в сфере смысловой, идеологической, нравственной, т. е. событийно связанной с существованием и самоопределением литературы) потребовали некоей эстетической альтернативы, которая явилась бы ответом на трудный мировоззренческий вызов».

Ответ на этот вызов Иван Афанасьев находит у Варлама Шаламова: «Именно В. Шаламов ответил на вызов и скепсис Т. Адорно, признав неизбежность самого вопроса о том, должна ли жить литература, если Бог — умер, но при этом не остановившись перед непреодолимой чертой, а — перешагнув через нее: став тем самым Плутоном, который, в отличие от Орфея, не спускается в ад, но поднимается из него»...

Орфей, спускаясь в ад, мог созерцать этот ад, сохраняя человеческое самоощущение. Но Орфей, который поднимается из ада, созерцает реальность, исходя из самосознания, которое пронизано этим адом?

Куда подыматься из такой катастрофической обреченности? И что делать?

Копать там, где стоишь! — вот единственное, что может с усмешкой посоветовать Афанасьев.

Еще горше эта послечернобыльская перспектива обрисована в приводимом у Афанасьева анекдоте о девице, которая в длинной, до пят юбке приходит к священнику: «Батюшка! Что вы думаете по поводу концепта парадигмы? Пожалуйста, проинтегрируйте идеалы и глобализируй-

те парадигму». Батюшка: «Замуж, дура!!! Срочно замуж!»

И после Чернобыля человечество обречено жить дальше, неизбежно отодвигаясь от ядерной войны и так же неизбежно придвигаясь к своей агрессивной природе...

История непредсказуема.

История человечества трагична.

В этой всемирной фантасмагории никто не проявит к нам никакой особой милости или жалости.

Значит, надо быть готовыми ко всему.

Продолжение следует.

